

НЕНАПИСАННАЯ КНИГА ПАУСТОВСКОГО

К 25-летию со дня смерти *Независимая газ. — 1993. — Форм. — С. 7.*

Сергей Федякин

In memoriam

ОН МОГ писать прозу, способную растрогать скупого на комплименты Бунина: «Дорогой собрат, я прочел... хочу Вам сказать о той редкой радости... Ваш рассказ... принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы». И он же мог «писать» такие вещи, которые неловко читать, настолько напоминая они мелодраму, писанную рукой школьника, мечтающего о литературе.

«— Да и как вас не любить! — добавила она и покраснела. — За что? — спросил Леонтьев, тут же понял, что не надо было спрашивать, и смутился. — Ни за что. Вот за то, что вы есть на свете. Мария Трофимовна быстро наклонилась к Леонтьеву, взяла его руки, прижалась к ним пылающим нежным лицом, вскопчила и быстро пошла, не оглядываясь, вдоль берега». В нем было много от этого школьника, он был писатель с затянущимся детством. Он столько пережил и переидел, что другому хватило бы и года, чтобы «отрезветь». Паустовский оставался романтиком — в самом непосредственном, детском смысле этого слова — до конца жизни, взяла именно о нем сказал столь любимый им Грин: «Детское живет в человеке до седых волос».

Тема писательства появляется в первом же его романе, по настроению — «юношеском» (хотя автор окончил его тридцатилетним человеком).

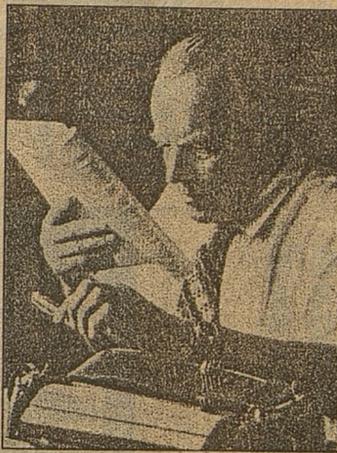
«Дребезжали стекла. Напрягая голос, я рассказала Семенову о книге, которую пишу. Называться она будет просто — «Жизнь».

Жизнь каждого — безвестного и великого, безграмотного и утонченного — всегда таит саднящую тоску о другом, более радостном существовании. Так рождается тоска по раю, по стране обетованной, грезы поэтов, системы философов, переливающиеся из одной эпохи в другую томление по недосягаемому краям».

Шагнув с одной ступеньки на другую (мы обычно называем их «этапами творчества»), писатели частенько смотрят на прошлые свои произведения и замыслы несколько свысока и легко дарят их своим персонажам. Несомненно, книга «Жизнь» — это нечто из прежних замыслов. Но «вечный подорожник» Максимов, герой «Романтиков», еще слишком жив в писателе, и он падает невыполнимый замысел героя: «— Сюжета я в этом не вижу, — сказал Семенов. — Очевидно, это только канва. Ну что же, пишите. Это прекрасно — писать. Люблю я эти трактирные разговоры».

Быть может, этот замысел еще не был изжит, еще звал, тянул к себе, мучал? Ведь и последняя, большая книга называлась столь же просто, и была почти столь же необъятна в замысле: «Повесть о жизни». И в этой, несомненно, лучшей своей вещи Паустовский рассказывает о том, как писались «Романтики»: «В то время я жил двойной жизнью — подлинной и вымышленной. О подлинной жизни я пишу в этой книге. Вымышленная жизнь существовала независимо от подлинной и добавляла к ней все, чего в этой подлинной жизни не было и быть не могло. Все, что казалось мне заманчивым и прекрасным. Вымышленная жизнь проходила в скитаниях, во встречах с необыкновенными людьми, в удивительных событиях. Она была окутана дымкой любви. Это была по существу длинный и связный сон». Эта вымышленная жизнь сопровождала его всегда и повсюду, поэтому он и не мог не проговориться: «я все время думал о тех книгах, какие я обязательно напишу. Написал я потом совершенно другие книги, но сейчас это уже не имеет значения».

Несбыточные идеи — не оставляют. Его герои любят поговорить о замыслах. То мелькнет в «Дыме отечества» идея книги о жизни



Константин Паустовский

красок, то герой «Повести о лесах» с подростковой наивностью и совсем соцреалистически «задумывается»: «Об этом всем буду писать... О нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте. О лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа». А то помнит какой-нибудь несуществующей, но замечательной рукописью летчика, который вдруг оказывается и большим писателем, творящим небывалое, в невиданном еще жанре («Это нечто совершенно новое в литературе да и вообще в истории культурного человечества»). И как вкусно описана эта несуществующая рукопись: «Начинается дневник с исследования о сопротивлении воздуха при полете. Много выкладок, цифр, но все это неожиданно и очень кстати пересыпано мыслями из дневника Леонардо да Винчи, своими личными записями, теми чувствами, какие возникали у Нелидова при работе над этим узким летным вопросом. Он, конечно, исходил из положения Леонардо, просто и гениального, как закон тяготения. «Птица, — говорит да Винчи, — при полете опирается на воздух, делая его более густым там, где она летит». Нелидов дал ряд изумительных наблюдений над полетом птиц — особенно много он пишет о журавлином полете. Здесь же Нелидов вставил короткий очерк о птицах в литературе — от угдейских голубей Майкова до голубей поэта Багрицкого, до чудесных его стихов о птичелове Диделе. Сразу это кажется хаотичным, но через пять — десять страниц уже улавливаешь в обманчивом беспорядке записей облик человека, никогда не оглядывающегося назад».

Конечно, Паустовский и сам мечтал о чем-нибудь таком. Разумеется, о серьезном знании теории полета, о поэтизации каких-нибудь ламинарных и турбулентных потоков не могло быть и речи. Но зато он превосходно знал другое «ремесло» — писательство — и из знаний об этом ремесле свил свою «Золотую розу». Но и эта книга, из сокровеннейших, хранила тоску о другом невоплощенном замысле:

«Биографии должны были быть короткие и живописные. Я начал даже составлять для этой книги список замечательных людей. В эту книгу я решил вставить несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался, — людей безвестных, забытых, но мало, в сущности, уступавших тем людям, что стали известными и любимыми. Просто им не повезло, и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след в памяти потомков. Большей частью это были бессеребряники и подвизники, охваченные какой-нибудь единой страстью».

Все эти ненаписанные книги о красках, о лесах, о людях — знаменитых и неизвестных, но не менее замечательных — легко ложались во все тот же замысел Максимова (т.е. юного Паустовского) из «Романтиков». Но герой первого романа справился с задачей легко и быстро — рассказал о замысле, а через восемь страниц: «Я кончил свою книгу». Сам Паустовский не может эту книгу даже

начать. В предисловии к первому собранию сочинений он заметит: «Написал я за свою жизнь довольно много, но меня не покидает ощущение, что все написанное — только начало работы, а вся настоящая работа еще впереди». И только что, в третьей книге автобиографической повести, он подвел итоги и снова заговорил о самом любимом и болезненном: «Довольно давно я начал писать эту повесть о своей жизни... Не знаю, успею ли ее написать. Если бы я мог сбросить со счетов еще лет десять, то мне хватило бы времени, чтобы написать еще и вторую повесть, может быть, более интересную, чем первая, — вторую книгу о своей жизни. Но не о той жизни, какая на самом деле была, а о той, какой она должна была и могла бы быть, если бы создание собственной жизни зависело от меня, а не от ряда внешних и зачастую враждебных причин. Это была бы повесть о том, что не сбылось, о всем, что властвовало над моим сознанием и сердцем, о той жизни, что собрала в себя все краски, весь свет и все волнение мира. Я вижу многие главы из этой книги так ясно, будто я пережил их несколько раз».

У него были эти десять лет. И все-таки он не рискнул написать свою «Жизнь», как рискнул некогда его юный герой. Он не решился на воссоздание своей внутренней жизни, быть может потому, что слишком часто повторял о том слабом свете вымысла, которым он «подсвечивает» реальность, чтобы переоплотить ее в художественное произведение («факт, поданный литературно, с опусканием ненужных деталей и со сгущением нескольких характерных черт, освещенный слабым сиянием вымысла, вскрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, чем правдивый и до мелочей точный протокол»). Это был именно свет его внутреннего мира, и на этом пересечении света внешнего и света внутреннего рождалась проза Паустовского. Чем ближе повествование было к реальности («Повесть о жизни», мещерский диалог, «Золотая роза») — тем яростней, тем волшебней действовал этот внутренний свет: оставаясь невидимым, он поднимал себе видимое. Чем больше было чистого «воображения», тем более прямолинейно внутренний мир пытался овладеть миром внешним («Северная повесть», «Повесть о лесах», «Дым отечества») — тем меньше волшебства оставалось в этой «подсветке», тем более плоским становилось изображение, а герои превращались в марионеток.

Лучший Паустовский — это поздний Паустовский. Он медленно рос, медленно набирал силу. И, быть может, совершенно интуитивно чувствовал, что дай он себе волю написать ту книгу, о которой мечтается, — его ждет разочарование. Нельзя писать о внутреннем мире, подсвечивая его сиянием этого же внутреннего мира. Надо либо совершенно изменить поэтику, либо не писать. Зато когда пишешь о реальном и самом обыденном, когда «подсветка» действует сама собой — тогда и рождается подлинное.

Ненаписанных книг в мире больше, чем написанных. И у каждого настоящего писателя (независимо от уровня его дарования) найдутся ненаписанные книги, которые дали жизнь другим, лучшим. Без ненаписанного «Мечтателя» не было бы «Преступления и наказания», без «Жития великого грешника» не было бы ни «Бесов», ни «Братьев Карамазовых», без ненаписанных (только лишь начатых) «Декабристов» не было бы «Войны и мира». И — если спуститься с этих высот и сказать о тех, кто лежит ближе к Паустовскому, — без «Недотроги» Грина было бы немислимо вообще его творчество.

Паустовский не написал своей «вещей» книги. Но она стала его способом видеть мир. И другие книги впитали эту несостоявшуюся повесть, сохранили и — преобразили ее.